

# Чаадаев на басманой

Category: Goşgular, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Чаадаев на басманой ЧААДАЕВ НА БАСМАННОЙ

Как червь, разрезанный на части,  
ползет – един – по всем углам,  
так я под лемехами власти  
влачусь, разъятый пополам.

В парах ли винного подвала,  
в кругах ли просвещенных дам  
влачусь – где наша не бывала!  
А между тем – ни тут, ни там.

Да я и сам не знаю, где я,  
как будто вправду жизнь моя  
загадка Януса – идея  
раздвоенности бытия.

Когда бы знать, зачем свободой  
я так невольно дорожу,  
тогда как самому – ни йотой –  
себе же не принадлежу.

Зачем в заносчивом смиренье  
я мерюсь будущей судьбой,  
тогда как сам я – в раздвоенье –  
и не бывал самим собой.

Да что я, не в своем рассудке?  
Гляжу в упор – и злость берет:  
ползет, как фарш из мясорубки,  
по тесной улице народ.

Влачит свое долготерпенье  
к иным каким-то временам.  
А в лицах столько озлобленья,

что лучше не встречаться нам.

\* \* \*

По гиблому насту, по талой звезде  
найдешь меня там, где не будет нигде.

Есть дальняя пристань, последний приют,  
где скорби не знают и мертвых не чтут.

Кто был для единого слова рожден,  
пусть ветром и пеплом развеян, но он

как кочет туда безголовый взлетел,  
а это, скажу вам, не худший удел.

\* \* \*

Южной ночью, один на пустом перроне,  
я поезд последний жду, а его все нет,  
и светляки над путями свадебным роем  
вспыхивают и гаснут. Тьмы светляков.

Вспыхивают и гаснут. Запахи роз и хлорки,  
свары какой-то хронической рядом, но мрак  
фосфоресцирует, брызжет, и прах летучий,  
кажется, самый воздух готов поджечь.

И когда прожектор, вынырнув из потемок,  
побежал по путям и заскрежетал состав  
с погашенными огнями, с побитыми окнами,  
эти кавказские счеты, черт их поймет;

и когда, покидав чемоданы, я чудом впрыгнул  
в дернувшийся вагон и взглянул назад,  
все, что теменью было: пальмы, вокзал и море, —  
все горело, брачным пульсировало огнем.

Что же все это: родина-мачеха — дом на сваях —  
мамалыга с сыром — падающий зиккурат

с изваянием идола — дальше — гремящий хаос —  
дальше! дальше! — пороховые зарницы в окне?..

Кто уехал, тот и останется — знает каждый,  
кто лечил ностальгией растраву душевных ран.  
Я не из этой страны, а из этого века,  
как сказал мне в Париже старый зек Сеземан.

Мне теперь не светят ни светляки, ни звезды,  
ничего мне не светит, в подушку тщета стучит.  
А под утро вижу искрящий желаньем воздух  
еще не стреляют и муза моя не молчит

\* \* \*

Без хозяина сад заглох,  
кутал розу — стоит крапива,  
в вику выродился горох,  
и гуляет чертополох  
там, где вишня росла и слива.

А за свалкою у леска  
из возгонок перегорелых  
наркоты и змеевика  
граммофончик звенит вьюнка  
в inferнальных уже пределах.

Страшно мал, но велик зело,  
ибо в царстве теней пригрелся,  
пожирающий знак zero.  
Вот и думай, мутант прогресса,  
что же будет после всего,  
после сныти, болота, леса...

После лирики. После эпоса...

\* \* \*

Под тутовым деревом в горном саду,  
в каком-то семействе, в каком-то году,

с кувшином вина посреди простыни,  
с подручной закуской – лишь ветку тряхни,

с мыслишкой, подкинутой нам тамадой,  
что будем мы рядом и там, за грядой,

Амо и Арсений, Хухути и я,  
и это не пир, а скорей лития.

Как странно, однако, из давности лет  
увидеть: мы живы, а нас уже нет.

Мы рядом, мы живы, и я под тутой  
еще и не старый, еще молодой.

Закатная мгла освежила траву.  
Цикада окликнула Саят-Нову.

Из давности, из наваждения лет  
кузнечик откликнулся ей вардапет.

Вот! роды прейдут, и державы сгорят,  
и сад промысловый пожрет шелкопряд,

и речь пересохнет, но из году в год  
цикада семнадцатилетняя ткет,

а рядом сверчок, безъязыкий толмач,  
смычком высекает свой варварский плач.

Деместикус, дектикус, коноцефал,  
да кто бы им имя какое ни дал,

личины меняя, он тот же, что был,  
Амо и Арсений под сению крыл,

словесная моль, дегустатор октав,  
скажи: каннибал – и не будешь не прав.

Напарники литературных декад,  
здесь самое место нам, в цехе цикад.

А что же в остатке? сухая картечь,  
лишь воздухом запечатленная речь...

Я вижу, как мы под тутою лежим,  
как живо темнеет, как сядет кувшин,

но миг или век – все равно дефицит,  
как жизнь промелькнула, и смерть пролетит.

\* \* \*

Вот Иона-пророк, заключенный во чрево кита,  
там увериться мог, что не все темнота-теснота.

В сердце моря, в худой субмарине, где терпел он, как зэк,  
был с ним Тот, Кто и ветер воздвиг, и на сушу изверг.

И когда изнеможил, когда в скорби отчаялся он,  
к Богу Сил возопил он и был по молитве спасен.

По молитве дается строптивость ума обороть:  
Встань, иди в Ниневию и делай, что скажет Господь.

Ах, и я был строптивым, а теперь онемел и оглох,  
и куда мне идти, я не знаю, и безмолвствует Бог.

Не пророк и не стоик я, не экзистенциалист,  
на ветру трансцендентном бренчу я, как выжженный лист,

ибо трачен и обременен расточительством лет,  
я властей опасаясь, я микроба боюсь и газет,

где сливные бачки и подбитые в гурт думаки,  
отличить не могущие левой от правой руки,

как фекальи обстали и скверною сусят уста.

Врешь, твержу про себя я, не все темнота-теснота...

. . . . .

Вырывающаяся из рук, жилы рвущая снасть

кой-то век не дает кораблю в порт приписки попасть.

На кого и пенять косолапым волкам, как не на пассажира уснувшего, под которым трещит глубина.

Растолкать? Бросить за борт? Покаяться? Буря крепка, берег тверд, и за кормчим невидимая рука.

Не пугайся, Иона, у нас впереди еще Спас, еще встанет растеньице за ночь и скукожится враз.

Так что плыть нам и плыть, дни и луны мотая на ось, на еврейский кадиш уповать и на русский авось.

\* \* \*

Эти тюркские пристани-имена Агидель, Изикюль, Дюртюли, рядом бывшее ваше имение где-то за угорами, под Сарапулом, разве можно забыть? Агидель, Дюртюли, раза три про себя повтори,

Изикюль – и бюль-бюль запоем, засвистит, душу всю исцарапает.

И само наше странствие на теплоходе по Каме, Белой, по Чусовой,

то ли позднее свадебное путешествие, то ли прощание с этим раем поверженным, над которым недавно парил часовой, а теперь только обморок территории, словно взяли вместе с вещами ее

и со всем наличным составом, включая плечи вырубков и персонал, да желонки как маятники на холмах нефтяные, а ниже – мережи и топляки в песке, да на курьих ножках стожки, а потом – провал: то ли Чертово Городище с Елабугой, то ли Челны Бережные.

Где-то здесь Цветаева задохнулась и письма слал Пастернак с просьбой отправить его на фронт, и дроздами не мог не заслушаться,

всю-то рябину ему исклевали, поди, не знаю, так ли, не так, дело не выгорело, слава Богу, ибо пуля, она не жужелица.

А закат, что закат? и в проточной воде он как кровь багров,  
а виденья безлюдности и потом едят поедом они,  
как в зеленых плавнях, к примеру, сомы сосали коров,  
запрудивших вечернюю реку выменами недойнными.

А до Флора и Лавра всего-то рукой подать, и уже  
ко вторым осенинам сбиваются в стаи ласточки,  
то-то кружат они кругами, и в воздушном их чертеже  
больше навыка, чем азарта, с которым гоняют в салочки.

Вот и мы, ты и я, мы не знаем по счастью своих путей,  
но посудина наша двухпалубная твердо держится расписания,  
зная в точности, как на смену Рыбам движется Водолей,  
так и сроки нашего пребывания здесь конечного расставания.

\* \* \*

И не то чтобы тайна сия велика  
или светит мне путь роковой,  
только я истекаю тщетою как река  
из последних своих рукавов.

Зря в царицынских плавнях речной корабел  
вахтенный будет шарить журнал.  
Ты прими меня, море, в свою колыбель,  
где и буй ни один не живал.

Вниз и вниз, мимо всех браконьерских сетей  
и застав, я кончаюсь туда,  
где осетр тяжелеет в себе сам-третей  
и как кровь солонее вода.

\* \* \*

— Кыё! Кыё!

По колена стоя в воде, не выпуская тачки, он мочится в реку.  
Возле моста, напротив трубы, извергающей пену  
и мыльную воду бань, напротив заброшенного погоста  
и еще не взорванной церкви на том берегу

он стоит в воде и мочится в реку,  
не понимая как будто и сам, как сюда забрел,  
а по лицу блуждает улыбка то ли блаженства,  
то ли безумия; кончив нужду, он там и стоит,  
где скот обычно вброд переходит реку,  
стоит, не оправляя штанов, уставясь в поток,  
онучи набрякли паводковой водою,  
и он не знает, что делать дальше, так и стоит,  
держась двумя за свою тележку, и что-то бормочет,  
что-то мычит, но одно лишь слышно: – Кыё! Кыё!

Что это? причет? или проклятья?

Каждой весной  
по мостовой железный грохочет гром.  
– Это Кыё-Кыё, – в пустоту кивают, –  
выкатил тачку свою, – и под лай собак  
он возникает в серой казенной шапке,  
в красных галошах собственной выклейки – вот,  
вот он проходит, лязгая, громыхая,  
чуждый всему и всем, и старухи вслед  
крестятся скорбно как на Илью Пророка,  
а мужики ворчат: – Проходи, проходи, дурак,  
или в Андреево хочешь? – и, дернув тачку,  
он исчезает в слепящем сумраке дня  
так же внезапно, как и пришел, лишь рокот  
ходит с собачьим брехом то тут, то там,  
следуя по пятам...

Зачем человек явился?

Зачем как судьбу толкает два колеса,  
и в праздники плачет, и лихо с улыбкой терпит,  
и радуется не к месту: я видел сам,  
как он с оркестром рядом шел похоронным  
и, обнажая десны, беззубым ртом  
весь ликовал, смеялся беззвучным смехом,  
вот, мол, кыё, смотрите, кыё-кыё –  
что с него взять! Пришел незнамо откуда,

и неизвестно, где сгинет.

– Не отдавай,

не отдавай меня в Андреево, – говорила  
мать моя перед смертью, а у самой  
были такие глаза...

Недавно случаем

я проезжал это место. Одноэтажный дом  
старой постройки, без царя перестроенный,  
в поле на выселках, можно сказать, барак,  
но с мезонином, и на крыльце сидели  
люди, все в чем-то сером, стайка людей,  
не говоря меж собой, нахохлясь как птицы,  
выбившиеся из сил, упав с облаков  
на полевое суденышко... но не это  
странным мне показалось, не дом-приют  
и не его обитатели, а то, что сам я,  
кажется, был там, знаю его изнутри  
до половиц, до черных латунных ручек,  
вскриков и запахов хлорки, урины и  
сквозняков, гуляющих коридором,  
хлопающих дверьми: – Проходи, проходи...  
О, то не гром расходится мостовыми,  
это Кыё-Кыё в небесах летит  
на оглушительной тачке своей, и слабый, белый  
тянется инверсионный след за ним,  
медленно растекаясь и багровея  
знаками тайн...

Что он хотел сказать,  
думаю я, просыпаясь, и на рассвете  
через полвека, путая сон и явь,  
всматриваюсь и вижу стоящего человека  
в мутной воде и вопрошающего опять:  
что? кого? – но нет у пустоты ответа,  
нет и всё! Ах ты катанье наше, мытье,  
никуда от вас – Иордан, Флегетон и Лета

или Вохна у ног... не знаю... Кыё. Кыё.

\* \* \*

Ночью проснется и в стену глядит.  
Дышит – не дышит. Как мертвый лежит.

Каплет на кухне. На улице льет.  
Слышит – не слышит. День-ночь напролет.

Лет перекачка. Утечка минут.  
Стерлась резьба? Или нервы сдают?

Слесаря вызвать. Врача пригласить.  
Кран замотать. Анальгин проглотить.

Господи, сколько же можно терпеть?!  
Думать – не думать? В обои глядеть?

Сколько взбешенным скрипеть лежаком?  
С кем препираться? И помнить о ком?

Кто докопается? Врубель какой?  
Камень на сердце? Перо под щекой?

Жизнь ли виной? Или сам виноват?  
Только глаза жутковато блестят...

\* \* \*

Я из темной провинции странник,  
из холопского званья перехожий.  
И куда мне, хожалому, податься?  
А куда глаза глядят, восвояси.

Я хлебнул этой жизни непутевой,  
отравил душу пойлом непотребным,  
и давно бы махнул на все рукою,  
каб не стыд перед Материю Божией.

Вот бреду, а Она-то все видит,

спотыкаюсь, а Она-то все знает,  
и веревочке куда бы ни виться,  
все кабак мне выходит да кутузка.

Ах, не этой земли я окаянной,  
не из этой юдоли басурманской,  
а из той я стороны палестинской,  
из нечаемой страны херувимской.

Я худой был на земле богомолец,  
скомороших перезвон колоколец  
больше звонов я любил колокольных,  
не молитвы сотворял, а погудки.

Есть на белой горе белый город,  
окруженный раскаленными песками.  
Есть в том городе храм золотоголовый,  
а внутри прохладная пещера.

Я пойду туда, неслух, повиниться,  
перед храмом в пыль-песок повалиться,  
перед храмом, перед самым порогом:  
не суди меня, Господь, судом строгим,

а суди, Господь, судом милосердым,  
как разбойника прости и помилуй,  
и порог я перейду Твоего храма  
и поставлю две свечи у пещеры.

\* \* \*

Две старых сосны обнялись и скрипят,  
вот-вот упадут.

И дождь их стегает, и гнет снегопад,  
но жить – это труд.

Лесбийские сестры, почти без ветвей,  
жилички высот.

Одна упадет и другая за ней,

но твердь не дает.

Я ночью не сплю, и они меж собой  
о чем-то не спят.  
Проснусь, а они уже наперебой –  
ну как? – говорят.

Щади их, ненастье, храни их в жару  
и стужу, Творец.  
О, скоро и я напрямик разберу  
их речь наконец.

\* \* \*

А березова кукушечка зимой не куковат.  
Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат.  
Ничего, oprичь молитвы, и не помню, окромя:  
Мати Божия, Заступнице в скорбех, помилуй мя.

В школу шел, вальки стучали на реке, и в лад валькам  
я сапожками подкованными тукал по мосткам.  
Инвалид на чем-то струнном тренькал-бренькал у реки,  
все хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки,  
потому что жизнь копейка, да и та коту под зад,  
потому что с самолета пересел на самокат,  
молодость ли виновата, мессершмит ли, медсанбат,  
а березова кукушечка зимой не куковат.

По мосткам, по белым доскам в школу шел, а рядом шла  
жизнь какая-никакая, и мать-мачеха цвела,  
где чинили палисадник, где копали огород,  
а киномеханик Гулин на бегу решал кроссворд,  
а наставник музыкальный Тадэ, слывший силачом,  
нес футляр, но не с баяном, как всегда, а с кирпичом,  
и отнюдь не ради тела, а живого духа для,  
чтоб дрожала атмосфера в опусе «Полет шмеля».

Участь! вот она – бок о бок жить и состояться тут.  
Нас потом поодиночке всех в березнячок свезут,

и кукушка прокукует и в глухой умолкнет час...  
Мати Божия, Заступнице, в скорбех помилуй нас.

\* \* \*

Актинидия коломикта так оплела  
окна веранды, что и коньки лесные  
кормятся с нашего, можно сказать, стола,  
не вылетая из сада.

В нашем казенном саду мало что для нас,  
больше для птиц и белок – орех, рябина,  
разве что яблоки да лучок «вырви глаз»,  
впрочем, мы не в убытке.

Сливу мы тоже делим, но без обид,  
как арендаторы временного жилища,  
все мы тут временны, и у кого кредит  
тверже, тот и хозяин.

Слава не слива, но плакаться не резон,  
если мы сами удел свой бумажный пашем,  
порасскажи муравью, что счастливей слон,  
он не поверит.

Все-таки, худо-бедно, пока живем  
не побираясь, и будущее не мстится  
ни пузырьками сидра, ни пузырем  
чистого самогона.

Нет у нас ни столового серебра,  
ни фолиантов редких, но чем не роскошь  
кодекс здоровья салернский читать с утра,  
на ночь Апостол.

Нет серебра, но глина у нас поет:  
дымковские свистульки свистят, и вторят  
дудки из Городца – весь гончарный скот,  
обжигом прокаленный.

Это с поры, когда покати шаром  
в каждой торговой точке, а мы с кошелкой  
по барахолкам рыщем – старье берем –  
дуйте, ребята, звонче!

Красную осень ставит на всем печать,  
и на крыло пернатый народ ложится  
рейсом экономическим летовать  
в теплые Палестины.

Перья почистить надо и нам чуток,  
дверь укрепить и вставить вторые рамы,  
сестрам-синицам сбить под окном чертог,  
вместе и зазимуем.

Самое время бронхи свои продуть,  
легкие продышать и прочистить горло  
меликой и вокабулами – и в путь  
мысленный за химерой.

Чаю заварим с мятой, накроем стол,  
яблочный пай нарежем, тетрадь раскроем.  
Может, хвала Алкею, и наш глагол  
Небу угоден будет.

\* \* \*

Вечный запах стираного белья,  
это сохнет бедная плоть твоя,  
пропитавшая потом уток с основой,  
выжми эту жилу, конца ей нет,  
разверни края и начни по новой.

Выжми эту жилу, проверь на свет,  
где не бош, а босх развернул сюжет  
и распял его на кривой веревке  
для слепых, ковыряющих пальцем ноль,  
как саму материю тратит моль  
вроде звездной татуировки.

А кто видит мир без червивых дыр,  
а пылающим куполом как потир,  
световую сам становясь мембраной,  
понимает, что я хочу сказать,  
перематывая из холстинки прядь  
золотую на безымянный...

Олег ЧУХОНЦЕВ. Goşgular